
Алек Янцен
"Чёрная вода"
18+

Алек Янцен

"Чёрная вода"

«Автор»
2026

Янцен А.

"Чёрная вода" / А. Янцен — «Автор», 2026

Лето 1552 года. Войска Ивана Грозного стоят под стенами Казани. Но в этой истории порох превращается в песок, а стенобитные орудия бессильны, потому что настоящая осада происходит не на поверхности.Под Казанью проснулась Черная Вода — древняя, слепая сила, которая не знает милосердия, но знает имя каждого. Она ведет свой счет, и в ее журналах уже записаны те, кто не вернется из похода. Чтобы удержать землю от погружения в бездну, царю Иоанну приходится менять саму природу своей власти: его слово из приказа превращается в физический вес, удерживающий реальность. Казанской царице Сююмбике суждено стать живым затвором, а воеводе Хворостинину — сделать выбор между клинком и пером.

© Янцен А., 2026
© Автор, 2026

Алек Янцен
"Чёрная вода"

Книга 1.
«Чёрная вода» (Казанское ханство)

Глава первая. Вода запоминает

Ребёнка несли вниз так долго, что Муса успел простить его за крик.

Крик стих ещё на трёхсотой ступени — то ли у мальчика кончились силы, то ли кто-то из идущих впереди наконец сделал то, чего не сделал Муса: зажал ему рот. Дальше спуск шёл в тишине, и тишина была хуже крика. Она шла вместе с ними, как живая, и чем ниже они спускались, тем плотнее она становилась, пока Муса не начал сомневаться, что вообще дышит, — ведь если он дышит, он должен слышать своё дыхание, а он не слышал.

Я не помню, шагал ли я за ними или меня несли, — расскажет потом Муса, но это будет потом, много позже, тому, кто спросит. И то, что он расскажет, будет правдой только наполовину, потому что половину он вычеркнет сам, а вторую половину вычеркнет вода.

Он считал ступени. Это успокаивало: пока считаешь, ты человек, а не кусок страха, несущийся вниз по винту высеченной в скале лестницы. Ступени были старые, камень вытерт посередине — не трещинами, не сколами, а именно вытерт, как вытирается порог у дома, где много лет ходят одни и те же ноги. Муса знал, сколько поколений ног. Он не хотел знать, но знал: счёт вёлся с тех времён, о которых в ханстве не рассказывали и сказок, потому что сказок не выдумывали — их услышали.

Запах пришёл раньше воды. Тина и сера, острое, живое дыхание подземелья, и от этого запаха у Мусы что-то тёплое шевельнулось в груди, и он испугался этой теплоты больше, чем темноты. Ему было спокойно. Ему, идущему вниз с чужим связанным ребёнком, было спокойно, как бывает человеку, возвращающемуся в отцовский дом. Он поймал себя на этом спокойствии и сжал зубы, но выкинуть его не смог, как не вывернуть из себя свою кровь.

Верёвка, которой была обвязана свёрток, пахла маслом. Её пропитывали годами, десятки рук держали её, и Муса знал на ощупь каждое её утолщение. Не эту самую верёвку — такие верёвки. В ханстве про них не говорили «верёвка». Говорили «путь».

Впереди горел один факел. Несущий его шёл первым, и его тень скользила по стенам выше его самого, как будто шёл великан, а человек был лишь его маленьким отражением. На стенах в нишах лежали кости. Муса не смотрел на них, но видел: кости были аккуратно сложены, крест-накрест, ровно, как дрова в жилом зимнем доме. Так складывают то, что не боятся. Так складывают то, что уважают.

Стало слышно воду до того, как открылось озеро. Не шум — воду слышат не ушами, а кожей, где-то под грудиной, как слышишь собственную кровь, если приложить ладонь к уху. Но здесь не было приложено ладони, и кровь звучала всё равно.

Пещера открылась сразу, без предостережения. Факел дрогнул, и Муса увидел озеро.

Оно не блестело. Оно не отражало свет. Оно было чёрное, гладкое, тёплое на взгляд, и факел в руке впереди идущего не бросил в него ни единого отблеска. Муса понял это не сразу — сначала показалось, что вода так глубока, что свет не достаёт до дна. Потом он понял хуже: вода не отражала факел. Она отражала только то, что нес человек.

Несущий сосуд шёл к краю, и в чёрной поверхности плыл бронзовый сосуд. Муса шёл следом со свёртком, и в воде плыл свёрток. И тот, третий, шедший последним — тот, кого Муса до сих пор старался не поворачивать голову и разглядывать, — тот тоже шёл.

А в воде его не было.

Муса стоял и смотрел на чёрную гладь, где отражались двое, и третий человек был здесь, на камне, за его плечом — Муса слышал его дыхание, редкое, спокойное, — но в воде его не было вовсе, как будто вода вычла его из мира, пока вычитала остальное.

Он не спросил. Ты не спрашиваешь у жреца, когда спускаешься по пути, — потому что спрашивать можно, но ответ тебе не понравится, а жрец это знает лучше тебя.

— Вода голодна, — сказал жрец.

Голос его был ровный, будничный, как у человека, который зовёт к столу.

— Она всегда голодна, — откликнулся несущий сосуд. Муса узнал голос старого Акай-ходжи из оружейного двора, тот, о ком ходили страшные, а потому приятные слухи, и мальчишки обходили его дом в сумерках, и от этого слухи становились только страшнее.

— Теперь — нет, — сказал жрец. — Орда ушла на запад, и восемь лет её не кормили. Она доедает старое.

Муса подумал: доедает старое — значит, доедает мёртвых. Тех, что в нишах. Тех, что сложены ровно, крест-накрест. Он вдруг ясно, телом, понял, почему кости складывают аккуратно: потому что вода доедает медленно, год за годом, и лучше, если она доест всё и не оставит полуобглоданного.

Жрец опустился на колени у самого края. Вода не колыхнулась. Ребёнок в свёртке задрожал, но не закричал — Муса вдруг почувствовал, что мальчик уже всё понял, по-детски, целиком, тем одним понятным куском, каким дети понимают смерть. Понимают лучше взрослых. Взрослые умеют забыть.

Акай-ходжа поднял сосуд. Жрец произносил не молитву.

Муса понял это на первых словах и потом уже не мог отлипнуть от этой мысли. Молитва обращена к кому-то. Просьба, хвала, торг. А жрец называл имена. Просто имена, одно за другим, десятки имён, ровным, скучающим голосом человека, повторяющего перечень товаров, — Байти-мурза, Аслан, дочь Ураса, Иш-Кильди, ещё, ещё, — и Муса знал, что это не произвол. Это список. Воду не просили. Воде докладывали.

Пришёл срок — вот то, что прибывало. Забирай.

Вода забрала.

Муса не увидел, как — он был уверен, что увидит, всю дорогу вниз боялся и одновременно готовился увидеть, а в последний миг закрыл глаза, как трус, и потому останется не знающим до конца дней. Но он услышал. Услышал то, что слышат раз в жизни и не находят потом слов: тишину. Звук спуска — редкое дыхание, капель где-то в глубине камня, собственное сердце — всё это оборвалось разом, как оборванная струна, и на одно бесконечное мгновение подземелье стало мёртвым. Потом звук вернулся — но не тот. Как будто вернулся в дом, где кто-то переставил вещи.

— Открывай глаза, — сказал жрец Мусе, не оборачиваясь. — Долг воды — смотреть.

Муса открыл. Вода была ровна и чёрна, как прежде. Она не отразила ничего — ни факела, ни троих живых. А потом отразила.

Не то, что было. То, что будет.

Муса сначала принял отражение за своё — стены, огни, город. Но город был не тот. Стены в отражении стояли белым камнем, и он знал, что у Казани стены дубовые, что белого камня в них столько не нагребли бы за сто лет, — значит, чужой город. Огни было много, слишком много, целые улицы огня, и над огнём падал снег. Муса пошёл бы зимой — но было последнее лето, август, и он понял, что это не снег. Пепел. Пепел, падающий на белый камень, как снег в августе.

И в центре отражения стояла фигура. Высокая, неподвижная, в тёмной одежде, и на её голове блестел окованный убор — Муса слыхал от греческого купца о шапке мономаховой, царском уборе москвитян, но тогда это было просто слово. Теперь это была шапка на голове фигуры в чужом горящем городе.

У фигуры не было лица.

Вместо лица в неё плескалась вода. Муса смотрел, и чёрная вода смотрела на него — не на жреца, не на Акая, на него, — и в её чёрной глубине он вдруг увидел своё собственное отражение, точно как в тихой реке в ясный день, и понял со всей прямотой, на какую только способен напуганный человек: она смотрит в ответ.

— Грядущий царь, — сказал жрец спокойно, как о погоде. — Мы знали его и прежде. Вода помнит.

— Вода помнит, — эхом отозвался Акай-ходжа, и это не было молитвой. Это было подтверждением. Так подтверждают счёт, который не сойдёшься проверить.

Муса не сказал ничего. Он видел другое: что вода смотрит не на царя-грядущего. Вода смотрит на них. И он не знал, которую из двух истин сделает правдой его молчание.

Потом вода кончила смотреть. Гладь потемнела и умерла, и в ней снова отражался только факел — и Муса ужаснулся тому, как обрадовался обыкновенному отражению огня.

Их подняли наверх. Обратный спуск Муса прошёл иначе: он снова считал ступени, потому что считать было единственным, что держало его за человека, — и сбился на тридцать третьей.

Ступень была мокрая.

Мокрая, хотя вода осталась далеко внизу, в глубине камня, за сотни ступеней и, как думал Муса до этой ночи, за пределами любого пути человека. Он стоял на мокрой ступени и не мог заставить себя поднять ногу на следующую, потому что следующая была мокрая тоже, и все — вверх, до самого жерла выхода, — мокрые, и он знал, что эту воду сюда не принесли на подошвах. Вода поднялась первой. Вода всегда идёт первой, она провожает своих наверх, она смотрит, как её кормильцы уходят в свет, и запоминает. Всегда запоминает.

Наверху была ночь, и месяц висел над Казанью тонкий, злой, как лезвие. Дым тянулся от очагов вверх, ровно, безветренно, и тени башен лежали на посаде длинными полосами. Шатёр ханской мечети чернел в темноте, и ветер, которого Муса не чувствовал кожей, гнул на вершине флюгер в сторону запада. Он смотрел на этот флюгер дольше, чем стоило, и не смог бы сказать, почему нельзя было отвернуться раньше. Но было нельзя. Так смотрят на дверь, за которой слышишь шаги.

— Муса.

Жрец стоял у жерла, и факел уже кто-то уносил. Лицо жреца было спокойно, как всегда; Муса вдруг понял, что не запомнил его — ни разу за эту ночь не запомнил, хотя видел часами. Лицо жреца не отразилось в воде, и теперь оно не отражалось в памяти.

— Список, что ты слышал, перепиши на пергамент. К рассвету. Все имена, в том порядке, как названы.

— В том же порядке? — спросил Муса, чтобы сказать что-нибудь. Говорить хотелось; молчание внизу прилипло к горлу, и его надо было смывать.

— Вода не меняет порядка, — сказал жрец. — Мы меняемся. Она — нет.

Муса сидел до рассвета в своей каморке при оружейном дворе, при свете лучины, и писал. Рука шла ровно; имена были ему знакомы по половине — имена казанских дворов, улиц, родов, им было много лет, иные, он чувствовал, были старше ханства. Он писал, и лучина потрескивала, и всё было почти хорошо, почти как обычная ночь писца, пока рука не дёрнулась на имени его сына.

Ильдар. Прошлой зимой, в мор, лёгкий морок, четыре дня лихорадки. Жрец у воды назвал его, и Муса услышал — не пропустил, он уверен в этом до сих пор, до этого рассвета и до самой смерти, — что назвал его среди свежих. Вода помнила и тех, кого никто не отдал. Она забирала сама. Мёртвые не уходили. Они становились её частью, как становятся частью реки капли, и река не различает, откуда капли.

Муса дописал список до конца. Это была последняя спокойная работа его жизни, но он этого ещё не знал, и потому рука у него была ровная.

Последним в списке шло имя, которого он не слышал.

Он бы клялся, что не слышал: он слушал все десятки имён, он боялся пропустить, он пропустил только одно, своё, — но на пергаменте, после Ильдара, его рука вывела чужое имя, короткое, русское, ничем не сцепленное со всем списком, как гвоздь, забитый в чужую стену.

Дмитрий.

Муса смотрел на это имя, пока лучина не сгорела. Потом он взял пергамент и соскоблил его — твёрдым ножом, по зерну, как учили, чтобы не осталось волокон и знака, — и в темноте каморки слышно было, как крошится зерно, и Мусе казалось, что соскоблить имя — значит отменить его.

Он стёр имя с пергамента, но вода уже запомнила его — вместе с именем того, кто придёт за городом.

Глава вторая. Белая вода

Город спускали по реке, как спускают платье с плеча.

Прокофий-пищальник слышал эту байку на третьи сутки плавания, от старого плотника с белыми, как у утопленника, пальцами, и байка с каждым пересказом обрастала плотью. Ладно, если верить правде: рубили Свияжск зимой, под Угличем, на высоком берегу, рубили топорами, которых коснулась государева печать, и каждое бревно клеймили номером. Потом бревна связывали в плоты, и Волга за четыре недели донесла целый город вниз, к устью Свияги, — стены, башни, церкви, раскаты для пушек. Весной прошлого года город поставили на голой горе за один месяц. Меньше, чем люди ставят избу.

— Дерево ревело, когда его пилили, — говорил плотник, и глаза у него были честные, и от этого становилось страшней. — Не каждый бревно. Но некоторые. Как человек, которого режут.

— Врать-то не сгоришь, — отвечал ему Прокофий, и все смеялись, потому что смеяться было хорошо и правильно: солнце стояло по-июльски высоко, вода в Свияге была светлая и чистая, на дне видны были желтые камни, и вся эта вода была московская — упорядоченная, тихая, текла по руслу, как приказ по столбцам: отсюда и досюда, ни шагу вбок.

Так Прокофий думал в тот июль. Потом он будет вспоминать эти дни — над иконой, в шестнадцатом году службы, — и не сможет понять, о чем он тосковал тогда, в Свияжске, зачем ему было жаль их уходящих. Никто ничего еще не знал. Вода была чистая. Это и было счастьем, и он этого не увидел.

Стана стояло семь. Они ползли вдоль Волги, слева река, справа леса, и утром над ними вставали полосы дыма, ровные, как столбы под церковным потолком. Пахло гарью очагов, смолой, конским потом и свежей рубленной капустой — обоз щедро снабдили, крохотное счастье, об которое люди цепляются, как утопающий за шест: соленая капуста на привале значит, что все идёт, как велено, и пока соленая капуста есть, до Казани дойти можно.

Казань стояла от них в девяноста верстах вниз по течению. Оттуда не доносилось ничего. Ветер был верхний, и в стане говорили о Казани шепотом и весело, как говорят о недуге дальнего родственника: пока не тронул тебя — просто слово.

Хуже были ближние вещи. Раны, грызущие людей изнутри задолго до боя: ссоры, жидкий хмель, скупой корм, слухи о том, что за Сурой не все ладно. Носовые лодки возвращались из разведки рано. Прокофий видел, как сотский принимал у них донесения, и видел, что сотский вытирал ладонь о рукав после того, как брал бумагу. Просто влажная бумага, думал Прокофий. Свежее перо, чернила жидкие.

Он хорошо умел придумывать простые объяснения. Это умение впоследствии спасет ему жизнь. Но о том — позже.

Царь Иоанн стоял на берегу вечером того же дня и смотрел на воду, и вода, как велено ей было, отражала его целиком.

Он приехал на пятую струге, в желтой роусе, в шапке с собольим мехом, и встречать его выходили всем станом, но глаза у встречавших бегали не на царя — на землю, чуть в сторону от его ног. Так смотрят не на гром, а на то место, куда гром ударит. Иоанн привык. Он привык к этому взгляду давно и так свыкся, что уже не различал в нем страха отдельно от любви и любви отдельно от страха: глаз человека, у которого спрашивают, чем дышать, — так и выглядит.

Двадцать два года ему было. Лицо — узкое, костистое, с желтизной у подбородка, глаза светлые и на удивление детски чистые, если не смотреть в глубину, где стояло что-то, чему названия еще не придумали. Из-под собольей шапки выбивалась рыжеватая прядь, и когда ветер шевелил ее, Иоанн поправлял шапку — жест уже старика, аккуратный, заученный.

Вечером он принимал воевод в большом шатре, и шатер дышал, как зверь: полотно тянуло с ветром, свечи колыхались, и тени на брезенте вставали и ложились, как по счету.

— Повелел, — сказал Иоанн, — к полудню пятницы переписать все доспехи по полкам. По списку. Чьи — чьи, чем латны, что на лючено. Спрятанное запоре.

Он не говорил громко. Слова выходили из него негромко, буднично, как выходит приказ из уст отца семейства, — но голос его при этом расходился по шатру странным образом: каждый слышал его так, как будто царь стоял у самого уха и говорил ему одному. Это и был Глас Державы. Не звук, а закон. Когда Иоанн повелевал, воздух расступался перед словами, как расступается вода перед ладьей, и слово шло вглубь, до костей, и останавливалось там, где человек и не знал, что у него есть глубина.

Воеводы кланялись. Никто не шевелился, пока не кончались слова, потому что кончались они всегда на одном и том же — на паузе, в которую надо было уложить «молчим, государь», и в эту паузу воздух в шатре плотнел, как плотнеет вода перед замерзанием.

Одного из писцов посада поймали утром на воровстве: тащил из государевой казны серебро. Его ввели к вечеру — бледного, мокрого от пота, связанного — не на казнь. На разговор.

— Откуда серебро, — сказал Иоанн. Это не был вопрос.

Писец молчал. Он дрожал, и не от холода. Иоанн смотрел на него и молчал тоже, и в этом молчании было что-то тяжелое, что оседало на грудь всем присутствующим, — но сильнее всего оно оседало на грудь того, кто виноват.

— Отвечай, — повторил Иоанн тихо. И потом, все так же тихо, отдельно, как ставят печать, добавил слово:

— Измена.

Дальше произошло то, о чем в стане потом говорили шепотом до самой осени. Писец не упал. Он остался стоять, потому что держали его под руки, но горло его закрылось — видно было, как по шее поползли полосы, бурые, как у лягушки, и лицо стало темнеть сверху вниз, ото лба к подбородку, как закрывается ставня. Он открывал рот, и воздуха в рот не шло. Он хлопал им, как рыба на песке, и глаз его, повернутый на царя, в них не было ни ненависти, ни мольбы. Была только чистая, животная готовность сказать все — но рот не отпускал.

— Задушился, — сказал кто-то за спинами. — Задохнулся человек.

— Дай ему выдохнуть, — сказал Иоанн все тем же будничным тоном. — Пусть вдохнет и скажет, откуда серебро.

Полосы на шее спали. Писец вдохнул — обрывисто, со всхлипом, как вдох после воды, — и заговорил, быстро, взахлеб, выкладывая все: и откуда, и с кем, и про что донесли в Казань, про

какой стан, в какую ночь. Выкладывал так много и так быстро, что воеводы переглядывались: этого не сказать и под страхом пытки, так говорят только изнутри вывернутое.

Когда он кончил, Иоанн кивнул.

— Станы стянуть, — сказал он воеводам. — Часовых удвоить. К нему — палач. Руки пусть отрежет, да не сегодня. Пусть неделю поживет с одним вором, — и посмотрел на писца, не моргая. — Живи. Помни, что горло тебе принадлежит мне, а не тебе.

Писца увели. Слух пошел по стану в тот же вечер и к утру стал толще и страшнее, как всё, что идёт через десятки ртов. Но суть его не искажалась — потому что суть нельзя было исказить. Все видели. Устами царя слова входили в людей, как гвозди в дерево.

Так держалась Москва над чужой землей — не столько войском, сколько тем, что закон имел лицо, и лицо это ходило среди них в желтой роусе и поправляло шапку жестом старика.

Хворостинин приехал от Суры на пятый день, под вечер, промокший насквозь, с шестью казаками, и с той минуты, как он соскочил с коня у шатра, собак в стане стало меньше у огней — они уходили от него, молча, прижав уши, и делали это раньше, чем успевали почуять человека: будто чувствовали его кожей.

Иоанн встретил его не в шатре — на берегу, один. Так он встречал только Хворостинина и был при этом похож на хозяина, вышедшего к единственному гостю, которому нечего скрывать.

— Ну, — сказал царь. — Сура?

— Сура тихая, — сказал Хворостинин.

Он был тенью человека: худой, узкоплечий, с лицом, у которого не находилось выражений, кроме двух — спокойствия и отсутствия спокойствия. Сейчас на нем было первое. Разговоры с ним всегда были короткие, потому что он говорил экономно, как тратит последний при последний деньги человек, знающий цену каждому грошу.

— А за Сурой?

Хворостинин помолчал. Так молчат не подбирая слова, а взвешивая, стоит ли говорить вообще.

— За Сурой лес плохой, — сказал он наконец. — Конь мой на рассвете становился на дыбы трижды. Казаки говорят — волк. Волков не было. Я смотрел следы. Следов не было. Гнилые места в лесу — да. Стоячие ямы. Вода в них стоит темная и не пахнет тиной. Пахнет серой.

Иоанн кивнул. Он не сгреб перстнями, не дернул щекой — ни одной приметы, по которой враги читали бы его гнев или милость. Но Хворостинин видел — потому что видел всегда то, чего другие не видели, — как воздух вокруг царя сделался плотнее, как огонек в фонаре на краю берега дрогнул и вытянулся, тонкий, белесый, как будто сам пламя прислушалось.

— Вода не пахнет тиной, — повторил Иоанн тихо. — А пахнет серой.

— Да, государь.

— Оттого, что вода стоит мертвая, она не обязана пахнуть ничем. А пахнет серой, — Иоанн помолчал. — Стало быть, в ней что-то горит. Или когда-то горело.

Хворостинин поднял на него глаза — единственный раз за этот разговор — и Иоанн увидел в них то, чего в них не бывало ни у кого из его бояр: понимание. Не страха. Уважения к черному знанию, как уважают нож, у которого нет обратной стороны.

— Государь, — сказал Хворостинин. — Мне не хочется за Суру.

Иоанн повернулся к нему всем телом — редко он давал кому-то свой затылок, даже воеводам, даже ближайшим, — и посмотрел. Светло-серые глаза, в которых стояло то безымянное, глядели на Хворостинина без гнева и без тепла, как глядит человек, читающий в чужом доме чужую книгу.

— Мне тоже, — сказал он. — Поэтому пойдем.

Он повернулся к воде — быстро, как повернулся бы спиной к этой теме, — и увидел в темной, спокойной, чистой, московской воде Свияги свое отражение. Оно было точное: шапка, соболь, рыжеватая прядь, плечи желтой роусы, за спиной — тень Хворостинина.

Иоанн смотрел на отражение и вдруг заметил, что вода, в которой отражается его лицо, — неподвижна слишком неподвижно. Ни рябь, ни комарья, ни отблеск звезды, которой над головой не было. Он смотрел, и отражение смотрело в ответ, и на одну долю мгновения ему показалось — именно показалось, он отгонит это всю осень и всю зиму, а к весне потеряет возможность отгонять, — что отражение моргнуло раньше него.

Ухо его, живое, недоверчивое к собственному телу, стукнуло один раз. Вода мигнула. Вода опаздывала на один удар сердца — или опережала.

Иоанн отвернулся. Он не позволил себе дрожи — дрожь в нем уже никогда не показывалась наружу, с детства не показывалась, с тех пор как дрожать было нечем. Он сказал Хворостинину на прощание одну фразу, короткую, как все его приказы, и Хворостинин уехал в темноту, к Суре, и собаки за его спиной молчали.

А Иоанн стоял на берегу, пока отряд не ушел из виду, и смотрел вниз по течению — туда, где за девяноста верст лежал город на холме, с дубовыми стенами, с мечетью, с башней, о которой до Москвы доходили странные слухи: будто башня эту видели и в большом пожарном дыму, и в снах, и на гербах старых грамот, которых ни один писарь не помнил.

Он стоял и думал, что вода в Свияге чистая, и отражение его точно, и все по закону.

Он не знал того, что знал тридцать лет спустя старик, умерший в тишине кельи, — что вода не лжет. Вода не может лгать. Вода запоминает всё, что в нее смотрят, и всё, что в нее опускают, — и если отражение мигнуло раньше глаза, это не вода дрожала.

Это вода готовилась показать то, что ей уже показали.

А она не меняет порядка. Меняются люди.

Иоанн ушёл от воды. Ему к утру надлежало быть в шатре: до полудня пятницы оставалось меньше времени, чем казалось, и подьячие уже жгли лучины.

Подьячий Ерёмка Тихонов не спал с поста у большого шатра уже вторые сутки. У него было спокойное, дешёвое лицо, роднящее его с самыми надёжными людьми войска, — такие лица у баб, что доживают до ста, у псов, что доживают до трёх, у писцов, что доживают до пенсии и умирают в тепле. Он сидел в походной светлице и правил походный журнал — заносил имена умерших за сутки, как велит форма: крестины, отчество, полк, причина. Журнал был новый, начатый в Свияжске, и в нём ещё не скопилось счёта.

За эту ночь умерли трое. Один — от поноса, его в дальний ряд. Второй — стрелец Сила Ермолин, у которого в четверг оторвался кафтан и который был до того здоров, что на спор ел сырое яйцо со скорлупой, — умер от лихорадки, в полдень, успев утром браниться с поваром о говядине. Третий не имел имени в журнале: его подобрали у воды, вниз по течению, и он не приходил в себя, а лежал, дыша редко и с тем чёрным спокойствием, с каким дышат не отогревшись.

Ерёмка вписал Силу Ермолина. Перо шло ровно. Потом рука его вывела имя третьего — потому что человек без имени не ложится в журнал, а безымянного нельзя, потому что безымянные являются во сне и спрашивают, за что их вычеркнули, — и остановилась.

Имя, которое он вписал, было русское. Короткое. Такого не бывало у пленных казанцев, и не бывало у торговых людей Свияги, и не значилось оно ни в одном списке — Ерёмка знал списки, потому что человек, не знающий списков, не доживает до пенсии и не умирает в тепле.

Дмитрий.

Ерёмка посмотрел на это имя так, как смотрят на гвоздь, торчащий из нарядного столба. Потом осторожно, двумя пальцами, снял перо — не соскоблил, не запорол, а именно снял, —

и оставил строку пустой. Ничего не бывает хуже, чем правило, которое ты один нарушил ради пустоты, и он знал это лучше всех в войске.

Он дописал журнал, задул лучину и уснул сразу и крепко, как усуют люди, умеющие не думать лишнего.

А утром, до полудня пятницы, послали его с журналом к царю.

Глава третья. Эхо

Хворостинин не верил в Бога, но в последний час перед Сурой начал договариваться с тем, кто слушает лес.

Это не была молитва. Он знал молитвы, их вбили в него ещё в детстве, но слова цеплялись в горле и падали, потому что он не умел просить. Просить умели другие. Хворостинин умел только договариваться: так говорят с врагом, который сильнее, но ещё не показал, чего хочет. Он ехал впереди сотни, отшатнувшись на полкорпуса от головы коня, и говорил в темноту между стволами — без звука, одними мыслями, потому что вслух боярин князь Дмитрий Хворостинин не разговаривал с деревьями даже ночью, когда вокруг никого не было. Особенно ночью, когда вокруг никого не было.

— Не трогай моих, — говорил он лесу. — Отойди, и я пойду мимо. Я не ссорюсь с теми, кто старше царей.

Лес отвечал молчанием, и в молчании его было что-то согласное. Или он только думал, что согласное. Он никогда не умел разбирать, где кончается его собственное мнение и начинается чужое в голове — но об этом он не думал. Об этом думать было нельзя. Кто начинает разбирать своё Эхо на части, тот уже не собирает его обратно.

Сура лежала впереди широкой тёмной лентой. Стояла вторая половина августа, год был сухой, и река в этом месте текла на третий палец ниже обычного — но почему-то не звучала. Реки звучат. Сура стояла тихая, как жидкий камень, и это молчание Хворостинин слышал за версту и не знал, как назвать его словами, а назвал бы — то слово было бы нехорошее.

Впереди, на броде, уже стояло войско. Его хоругвь, его передовой полк — а ниже по течению, по разведанным бродам, растягивались остальные: большой полк, полк левой руки, обоз. Сорок тысяч человек переходили реку с рассвета, и к этому часу перешла большая часть, и всё шло по приказу, по разряду, по списку — а Хворостинин смотрел на воду и не находил в себе той сытой уверенности, с которой воеводы уже крестили брод и сели в сёдла.

Вода текла. Он видел, как она берёт бревна, как ломает их о камни ниже по течению. Но у воды не было голоса.

У всякой живой воды есть голос: гул, шёпот, плеск на перекатах. Московские реки болтают без умолку, и после Москвы всякая река болтает. Сура не говорила ничего. Она текла, потому что так положено по слову цареву, потому что вода не смеет стоять, — но говорила с такой неохотой, с какой не говорят и мёртвые.

— Лес плохой, — сказал он Хворостинину ещё над Сурой, — и вода под Сурой тихая. Штурману твоему, государь, я это доложил. В писемном виде.

Иоанн кивнул тогда и сказал только: — Хорошо, что ты докладываешь, а не молчишь.

Это была лучшая похвала, какую Хворостинин слышал от него за четырнадцать лет службы, и он помнил её до Суры и после Суры.

Первым умер перевозчик.

Он не был солдатом — это был местный, черемисский мужик, которого вербовали к броду, чтобы знал мелкие места. Он вёл за уздечку первую тяжёлую телегу, упёрся в воду, — и вода взяла его. Не так, как берут живые воды: не тянула вниз за ноги, не крутила. Мужик как-то сразу сел, как садятся, когда внутри что-то оборвалось, и опустил лицо в воду, и лёд

не кончился — потому что был август, и лёд не начался никогда. Просто он перестал держать голову.

Трое стрельцов, что шли за телегой, вытащили его за подмышек. Они тащили его против воды, тяжело, — и Хворостинин, стоявший на берегу, смотрел на них и видел их смерть.

Он видел её так, как видят удар молнии перед раскатом: не картинно, не страшно — просто раньше, чем она случилась.

Видел, как стрелец слева, рыжий, с расстёгнутым воротом, берётся за пояс мёртвого и рвёт его к берегу — и как при этом под его левой ногой уходит камень, тот самый окатанный, голёный камень, на который он сейчас не смотрит. Видел, как нога скользит, как вес мёртвого тянет обоих вниз, как вода закрывает рыжему лицо — вот здесь, на этом камне, между вторым и третьим взмахом рук.

— Уходим, — сказал Хворостинин негромко, и сотник возле него обернулся.

— Государь князь?

— Рыжиего оттащить. — Хворостинин кивнул на камень, не глядя. — Втроём. За левый ремень, не за пояс. Пусть мёртвый утопит сам себя, но живых мне не отдавать.

Сотник не понял, но приказ есть приказ: четверо бросились в воду, выдернули стрельца в сторону, за ремень, — и в ту же минуту рыжий, дёрнувшись, наступил на тот самый камень, голый, скользкий, невидимый в коричневой воде, — и нога его пошла в сторону, и он вывернулся, и упал бы, если бы его не держали за ремень. Он повис на руках, барахтаясь, с мыльной пеной у губ, — и его вытащили, и он кашлял, живой, зачумлённо-живой, живой до тряски в коленях.

А Хворостинин стоял и не качал головой. Это была не удача и не приказ, спасший человека. Это было Эхо Битвы — впервые за этот год, впервые с зимы, пришедшее само, без боя, без крови, из-за мёртвой реки.

Это было плохо. Так не бывает. Эхо приходит за два-три удара сердца до смерти, в сече, когда кровь кипит, — а тут стояла тишина и шла переправа.

Эхо услышало смерть раньше, чем она пришла, — значит, смерть уже была здесь. Значит, она ходила по броду вместе с водой, среди сорока тысяч живых, и искала, к кому приложиться, как ищет рука, что за спиной.

— Отвести всю тяжёлую кладь на соседний брод, — сказал Хворостинин сотнику ровно. — Этот брод закрыть. Кто начнёт переправу — того на кол. До моего слова.

Сотник посмотрел на него так, как смотрят на вора. Переправа была расписана по разряду, до последнего вьюка, и Хворостинин только что сломал ей порядок, — а у Хворостинина были на это права, данных ему мало у кого, — и поэтому сотник только поклонился и уехал, бросив через плечо казаку: — Слышал? Брод закрыт. Князь велел.

— Князь ничего не велел, — сказал казак. — Князь только стоит.

Но брод закрыли.

К вечеру переправились все. Потерь не было, если не считать перевозчика, которого вытащили мёртвым и зарыли выше воды, по-ихнему, лицом на восток. Хворостинин стоял на западном берегу и смотрел, как полки уходит в лес, растягиваясь колоннами, — и ему казалось, что он смотрит, как вода вливается в треснувший сосуд.

За Сурой начинались те самые леса. Он знал их по донесениям, по рассказам казаков, по собственным объездам прошлой осени: глухие, чёрные, ольховые — а в них, в ложбинах, стоячие ямы, тёмные воды, которые не пахнут тиной. Вода, которая не течёт, не отражает и не говорит — вода, которая только ждёт.

И в этих лесах стояло войско. Оно заночевало — сорок тысяч людей, тысячи костров, тысячи лошадей, — и Хворостинин, проезжая вдоль стана перед сном, видел то, что уже видел

над Сурой: по отдельности всё было хорошо. Стрельцы ели, ругались, дрались за место у огня, точили бердыши, плясали под кого-то, кто голосил в дудку. Люди.

Но если посмотреть не на людей, а на промежутки между ними — там что-то стояло. Он не мог назвать это. Он не умел называть того, что видит; он умел только проверять. Проверка была простая: подойти и спросить себя, чего я не вижу. И там, где между кострами стояло ЭТО, он не видел, — а там, где не стояло, видел светлячков, тени, отражение углей в мокрой траве.

ЭТО не отражалось. Оно не было и тенью, потому что тени падают от света, а ЭТО не имело отношения ни к свету, ни к темноте. Оно стояло в промежутках, как стоит вода в бочках: ровно, тихо, до края.

— Князь.

Хворостинин обернулся. Рыжий стрелец — тот самый, живой, вытащенный из-под воды. Он держал шапку в руках и был трезв.

— Князь, я хочу тебе сказать. — Он не знал, как говорить с боярином, и оттого говорил, как говорят с святым или с сумасшедшим, — на всякий случай одинаково. — Я тонул сегодня.

— Не тонул, — сказал Хворостинин.

— Тонул, — упрямо сказал стрелец. — Я помню, как вода была мне в лицо. Я помню, что я её глотнул. Я помню, как меня тащили, — а тут меня вытащили в первый раз, как только я отцепился от мёртвого. Я не хлебнул, князь. Я не успел. Но я помню, как хлебнул. Я помню вкус.

Хворостинин ждал.

— У воды не было вкуса, — сказал стрелец, и лицо у него было серое, как у утопленника ещё до воды. — У неё был вкус тины. А у той воды, что я помню, вкуса не было вообще. Понимаешь? Вода, у которой нет вкуса, — она не вода. И я той воды боюсь.

Хворостинин долго смотрел на него. Потом сказал — впервые за вечер, глядя прямо:

— Ты не бойся её. Ты её слушай. Она не тронет того, кто её слушает. Она берёт тех, кто не смотрит.

— А ты, князь? — спросил стрелец. — Ты боишься?

Хворостинин не ответил. Он и не умел отвечать на такие вопросы; в нём ответы не жили.

Он уехал в свой шатёр, и перед сном сел и достал доску и мел — он делал так всегда, когда не мог уснуть: чертил. Это был его способ не думать лишнего: когда руки заняты, голова занимается руками.

Он чертил план переправы. Брод, камень, стрелец, мёртвый перевозчик, — и всё это сложилось у него в одну короткую прямую, как стрела в полёте, и он смотрел на эту прямую и понимал, что она указывает вниз по течению, к Казани, и что не он её провёл, а она провела его руку.

Мел дрогнул. Хворостинин положил его.

За стенкой шатра, в темноте, кто-то дышал. Не всхлипывал, не стонал — просто дышал, ровно, глубоко, со скоростью спящего человека. Хворостинин слушал. Он знал стан наизусть, знал всех, кто спал в ближних шатрах, и знал, что этот человек дышит не там, где должен спать человек, — а в пустом месте, где ничего не было.

Дыхание не оборвалось. Оно продолжалось. Оно было терпеливо, как терпелива вода в стоячей яме, и ждало, когда Хворостинин ляжет и уснёт, — потому что со спящими оно умеет.

Хворостинин не лёг. Он сел и просидел так до третьих петухов, и дыхание за стенкой не исчезло, но и не приблизилось. Когда начало сереть, он открыл полог и выглянул.

В промежутке между его шатром и соседним, в пяти шагах, на мокрой траве, никого не было.

Но трава в том промежутке лежала примятая — ровно, по-человечески, как лежит трава там, где долго стояли и смотрели.

— Ты уже не первый раз, — сказал Хворостинин в темноту, не громко. — Но в этот раз я тебя не пущу.

И ему показалось — только показалось, — что в темноте что-то поняло его и отступило, с той неохотой, с какой отступает вода от берега, обещая вернуться.

Глава четвёртая. Два голоса

Кости Иоанна горели изнутри.

Началось это тихо, как начинается всё, что потом называют страшным: накануне, вечером, государь не смог согреться. Август стоял жаркий, в шатре было душно, свечи оплывали, а Иоанн сидел в собольей шубе — не зимней, но шубе — и смотрел в огонь так, как смотрят люди, у которых внутри начался собственный мороз. Лекарь боярин, старый Адашевский человек, пощупал под мышкой и сказал «жарок», и это слово вошло в стан раньше, чем вошло в тело: к рассвету о царе уже знали все, от воевод до последнего людского люда, и знали не «болен», а «горит».

В походных списках болезнь государя записывали обтекаемо. Записано здесь должно быть по правде, потому что правда важнее списков.

Первые сутки Иоанн правил. Это было привычно и почти удобно: лихорадка поднималась к ночи, к утру отпускала, и в светлые часы он принимал воевод, слушал подьячих, вёл пергамент под рукой и ставил резолюции, от которых стонали стороны. Глас его звучал как всегда — негромко, до костей. Никто не замечал ничего.

На третьи сутки стал замечать он сам.

Голос, который шёл из него в людей, начал возвращаться.

Обычного этого не было и не могло быть. Глас Державы — не звук, а закон, а закон не имеет эха; закон ставится один раз и стоит. Иоанн с четырнадцати лет знал это лучше всех живущих: когда он повелевает, воздух принимает приказ, и приказ не возвращается, потому что возвращаться некуда. Приказ — это дверь, открывшаяся только внутрь.

А теперь приказ открывался в обе стороны.

Он заметил это на мелочи, на такой мелочи, за которую себя потом будут ненавидеть. Утром, в светлый час, он велел переобозначить караулы у большого шатра — не потому, что караулы требовали смены, а потому, что в жару внутри у него путались лица и он хотел по списку, по бумаге, а не по памяти. Слова вышли из него, как всегда, негромко и до костей; дьяк поклонился и ушёл записывать.

И когда дьяк ушёл и шатёр опустел, Иоанн услышал в наступившей тишине свой собственный приказ.

Не память. Память не имеет тела. А это имело: голос, негромкий, до костей, чуть сдвинутый — как поют себе под нос, не открывая рта, — повторял его слова слово в слово, от начала до конца, с той же самой интонацией, с которой это говорил он сам, и заканчивал на той же самой паузе, в которой надо было уложить «молчим, государь».

Он сидел в шубе, в жару, и слушал, как приказ, который он отдал воздуху, воздух отдаёт обратно.

Иоанн был не трус. Он был человеком, у которого с детства забрали право на дрожь, и потому то, что с ним случилось теперь, не назовёшь страхом. Он сделал то, что сделал бы любой здравый человек на его месте: проверил.

— Кто здесь, — сказал он. Полог шатра не шевелился.

Тишина.

— Повтори, — сказал он тихо. И добавил, отдельно, как ставят печать: — Приказ.

И эхо повторило. Не «приказ». Весь приказ. Утренний, про караулы, — от первого слова до последней паузы, в его собственном голосе, до костей, и на последнем слове чуть-чуть запоздало, как отражение, которое мигнуло раньше глаза.

Иоанн сидел очень тихо.

Потом он сделал второе — то, чего не сделал бы здравый человек, и сделал всё-таки, потому что был государь, а государь обязан знать и то, что делают сумасшедшие. Он вытянул вперёд руку ладонью вверх, как берут что-то с блюда, и произнёс — не вслух, не в воздух, а в то место внутри, откуда выходил Глас, — новый приказ, короткий и бессмысленный: «Встань».

Эхо вернуло: «Встань».

Только это было не «встань» Иоанна.

Это был его голос, вывернутый наизнанку — как комната в зеркале: все предметы те же, но дверь там, где окно, и в комнату этой комнаты нельзя войти, потому что она идёт в другую сторону. Приказ был его, а воля в нём — чужая. Не враждебная — хуже. Равнодушная.

Иоанн опустил руку.

К вечеру жар поднялся до той границы, за которой у людей уже нет имён, а есть только голоса. Лекарь поставил к кровати двух стрельцов и велел не спать ни ему, ни им; но стрельцы заснули, сидя, оба, в один и тот же час, с открытыми глазами и опущенными на колени руками, и Иоанн остался в шатре один — если не считать того, что шёл с ним всегда.

Он видел огонь в светце. Огонь стоял столбом, неподвижно, и не дрожал, и это было неправильно, потому что огонь всегда дрожит. Он смотрел на пламя и понимал, что пламя заперли, — и вспомнил, что запереть умеет только он один. Весь округ — ни одной спички ветра, ни одной тряски полотна. Полотно шатра висело мёртвое. Он смотрел на огонь, и эхо смотрело из огня, и это был самый длинный час его жизни до той ночи, которая случится позже, под чужим городом.

Он заговорил с ним. Не с эхом — с Богом; это было привычнее и дешевле.

И Бог не ответил, но ответил тот, третий, — голосом, который до костей, негромко, ровно:

— Мы знали тебя и прежде. Вода помнит.

Иоанн узнал эти слова. Он никогда их не слышал — но узнал, как узнают во сне, что идёшь не туда, куда идёшь. Это была не его фраза. Эта фраза родилась в другом месте, в чужой земле, у чужой воды, в чужой ночи, — и теперь шла к нему, на север, по воде, через девяносто вёрст, как шло всё в этот год.

— Вода помнит, — повторил голос. — Меняются люди. Она — нет.

Утром жар отпустил. Стрельцы проснулись, не помня ничего, лекарь пощупал и сказал, что кризис миновал, что к возрасту государю это не в счёт, что после мытарств надо покой и холодную воду. Иоанн принял хладную воду, принял покой, принял доклады, и всё это время в нём, на дне, там, где у других людей дно и есть дно, — стояло то, что стояло.

Когда воеводы вышли, он позвал подьячего с походным журналом.

Пришёл тот самый — Ерёмка Тихонов, с дешёвым спокойным лицом, с журналом, перевязанным ремешком. Он поклонился низко, по-писарски, и стал ждать, потому что в присутствии государя ждали всегда.

— Сколько умерло за три ночи, — спросил Иоанн. Не спросил — сказал, как ставят печать.

— Трое, государь. От поноса один. От лихорадки стрелец Сила Ермолин. Третий...

— Третий кто.

Ерёмка помолчал. Иоанн смотрел на него, и Глас в шатре стоял, как стоит вода в переполненной бочке: до края, не расплёскиваясь.

— Безымянный, государь. Подобран у воды вниз по течению. Без сознания. Я его... не вписал.

— Не вписал, — повторил Иоанн.

— Строку оставил пустой, государь. Безымянных нельзя, — проговорил Ерёмка, и голос его был ровный, как у людей, которые научились ровности раньше, чем бояться. — Но и не вписать нельзя. Я думал.

— Ты думал, — сказал Иоанн. — Хорошо, что ты думаешь, а не молчишь.

Это была вторая раз за год такая похвала, и Ерёмка запомнил её на всю жизнь и будет пересказывать внукам, и внуки не поверят, потому что эту фразу никто не любит вспоминать вслух.

— Приведи его, — сказал Иоанн.

Безымянного принесли в полдень. Он шёл сам, медленно, но сам, держась за рукав конвойного, — и Иоанн, глядя на него, понял две вещи разом, и обе были неправдоподобны, и обе были верны.

Первая: человек был не татарин и не черемис. Он был русским лицом — того неуловимого сорта, по которому даже недруг узнаёт своего. Вторая: на нём не было ни одежды, ни обуви. Босые ноги были чистые.

Так не бывает у человека, которого вытащили из воды после шторма. Босые чистые ноги бывают у тех, кто шёл по сухому и не хотел наследить.

— Имя, — сказал Иоанн.

Человек поднял на него глаза. Глаза были светлые, спокойные, водянистые, и в них стояло то, что стоит в глазах у людей, вернувшихся с того света и не сумевших сделать вид, что не возвращались. Он смотрел на царя снизу вверх и не кланялся — не дерзко, не бунтом, а так, как не кланяются камни.

— Дмитрий, — сказал он.

В шатре стало тихо. Конвойный перестал дышать — просто перестал на несколько ударов, как перестают дышать, когда в комнате что-то падает и надо понять, что упало.

— Больше ничего? — спросил Иоанн.

— Больше, — сказал безымянный, и голос его был тихий, вежливый и очень ровный. — Ты знаешь, что больше.

Иоанн не вздрогнул. За четыре дня лихорадки он научился не вздрагивать, и это умение теперь осталось при нём навсегда, как прирастает железо к руке, которую прижгло.

— Уведите, — сказал он воеводским тоном. — Дайте ему одежду, корм, постель у писарской избы. Не связывать. Не спускать с глаз. Если спросит воды — не давать из Свияги. Ни капли. Слышали?

— Слышали, государь, — сказал конвойный и повёл человека.

Ерёмка остался. Он держал журнал при груди, как держат щит.

— Впиши, — сказал Иоанн. — Имя, которое он назвал. Дмитрий. Полк — не полк. Причину — не причину. Пустую строку закрой именем.

— Государь... — Ерёмка сглотнул. — А как же... безымянных нельзя, а не вписать нельзя...

— Теперь можно, — сказал Иоанн. — Теперь он назвался.

Он говорил ровно, и Глас его шёл в Ерёмку до костей и останавливался там, где надо. Но внутри, на том дне, где он теперь жил, Иоанн держал другую фразу — короткую, не для дьяков и не для воевод, — и держал крепко, потому что это была первая честная мысль за четыре дня горящей крови:

Если эхо носит имя, значит, у эха есть кто-то, кто его зовёт. И если это звали меня — то звали из-под Казани.

Он подошёл к входу шатра и откинул полог.

День стоял жаркий, ясный, с лёгким ветром, который шевелил знамёна и траву и всё живое вокруг. А вниз по течению, за поворотом, блестела Свияга — светлая, чистая, московская вода.

И поверхность её была неподвижна слишком неподвижно.

Глава пятая. Шёпот

Сююмбике не спала, потому что Казань спала рядом с ней — и ей снились те же сны, что и городу, и она их слышала.

Это не было даром. Даром ничего не было, и в этом была её беда. Люди, у которых есть дар, умеют постыться от него, закрывать, якорить колдовством, уходить в одну комнату от другого. Сююмбике не умела ничего: она была настроена, как настраивают струну, — на весь степной ветер разом, и что бы ни звучало в степи, звучало и в ней. Землетрясение за Иртышом будило её по ночам. Мор в кочевьях делал её пальцы холодными. А теперь, с запада, с тридцать первый ночи, по Ветру шло войско, и войско это не звенело, как звенят конные орды, — оно молчало, сплочённо, холодно, как молчит вода в яме.

Она вставала с кушетки и шла к окну. Утямыш спал рядом, четырёхлетний, тёплый, с ручкой, выброшенной из-под одеяла, — и она накрывала ему ручку обратно, каждый час, не потому, что он мёрз, а потому что это было единственное действие в её ночи, от которого что-то менялось к лучшему.

Город лежал под ней чёрный и тихий. Дубовые стены, посады, дым. Издалека, если не знать, что это Казань, её можно было принять за любую из городов, которые она видела в жизни: Сарай, Касимов, даже, в неясные предрассветные минуты, — за Москву, где она не была никогда, но где снилась ей собственная старость, и в этой старости по ней ходили цепями и кормили из рук.

Москва шла сюда за ней. Она это понимала раньше всех и понимала точнее всех. Москва шла за городом, за данью, за Спиралью, за всем тем, что нельзя собрать в обоз, — но главным образом за ней, потому что без неё город был просто городом, а с ней город был ключом, а без ключа не берут замков.

Хуже всего было не это. Хуже всего было то, что она знала: они возьмут. Не в эти дни, не в эту луну — но возьмут. Она видела это не как гадание, а как слышат походку наверху: по шагам, по доскам, по тому, как дрожит потолочная балка. Ветер донёс ей белые каменные стены, которых у Казани не было. Ветер донёс ей пепел в августе. Ветер уже всё ей донёс — и у неё оставалось только одно право, которого не отнять у резонатора: выбрать, на чём сыграть, пока струна ещё цела.

Совет ханства собирался не в мечети и не в ханских хоромах — в доме Кошай-мурзы, потому что хан Шах-Али уже не должен был знать, где и о чём его подданные говорят.

Шах-Али сидел в кремле с русской стрельбой, и это было известно всем, кроме него, — как бывает известно имя изменника, когда все уже согласились его казнить, а он сам ещё ходит по пиршествам и наливает. Москву он называл «государь», и «государь» в его устах не был укороченным словом, а был прямым названием, и от этого слова Казань уже четверть года отращивала под своим городом ту глухую злобу, которая не шумит, а растёт, как растёт вода в подвале.

Сююмбике сидела в дальнем углу, за занавесью. По обычаю её не должны были видеть, и она сама в первый раз в жизни была благодарна за этот обычай: ей не хотелось, чтобы они видели её лицо, когда она слушает их.

Говорили шестеро. Кошай-мурза говорил дольше всех, потому что говорить за столом — его ремесло: он говорил о справедливости, о вере, о том, что мусульманский народ не может жить под рукой христианского государя, и всё это было правдой, и всё это было защитой, которой он обкладывал себя со всех сторон, как обкладывают себя дровами перед огнём. Его хватятся, думала Сююмбике. Его хватятся первыми — такие всегда думают, что говорят для пра-

вого дела, и всегда забывают, что правое дело в Казани стоит дешевле худого, если его голос ровный.

— Ядгар идёт, — сказал Кошай-мурза наконец то, ради чего собрались. — Ногайский подарок Москве. Хан, которого Шах-Али не звал. Он будет у ворот через месяц. Когда он будет у ворот, кремль надо будет открыть — изнутри.

Тихо стало в доме. В углу у заслонённого окна не спала свеча, и пламя её тянулось к Сююмбике — не вбок, а вверх, тонко, как тянутся травы к солнцу. Она не двигалась. Двигаться было нельзя: с ней и так двигалось всё вокруг. Куры в сарае за стеной неслась в полночь. Порох, который хранился в погребах, за эти три ночи отсырел до того, что стрельцы Шах-Али жаловались на «худую куплю». Она не делала этого. Это делал Ветер — через неё, как дышит сквозь приоткрытое окно, не спрашивая.

— Царица, — сказал Кошай-мурза, не поворачиваясь. Он знал, что она не спит; все знали, но говорить ей вслух решался не каждый. — Что скажет Шёпот?

У неё было время ответить лгуном — сказать, что Ветер против, что осенью степь даёт лист, и никто не пойдёт. Ей было тридцать шесть лет, она родилась среди Ногая, где лгут красиво и по нужде, и она умела лгать лучше всех в этом доме.

— Ветер не против, — сказала она сквозь занавесь. — Ветер не бывает за и против. Ветер бывает только тогда, когда его зовут. Вы зовёте не Ветер. Вы зовёте воду.

Кошай-мурза помолчал. В этой тишине те, кто был умнее, считали по два.

— Вода? — переспросил он.

— Под городом есть вода, — сказала Сююмбике. — Вы знаете, что есть. Вы все знаете. Ваши деды знали и потому не спускались в неё без нужды, а нужда не приходила восемь лет. Теперь она пришла. Она зовёт нас, потому что с запада идёт тот, чьё имя она уже слышала. Не спрашивайте, чьё. Спросите у неё сами, если не боитесь. Я не пойду туда с вами. Со мной туда не сойдут.

— Почему?

— Потому что я не скажу ей ни одного имени, — сказала Сююмбике ровно. — А вы скажете. Вы скажете сразу, потому что вы боитесь, а напуганный человек не может молчать о том, что хочет, чтобы его не трогали. Вода запоминает тех, кто ей говорит. Не спрашивайте, что это значит. Просто не говорите с ней тех, кто вам дорог.

Она услышала, как по залу проходит то, что проходит всегда, когда человек даёт совет, который никто не хочет слушать: обиду, одетую в молчание. Потом кто-то из младших, тот, кто не умел ещё считать по два, спросил:

— А если и царица скажет ей имя?

— Я скажу ей одно имя, — сказала Сююмбике.

Она не сказала какое. Это было первое, что она решила за эту ночь, и последнее, что она оставила себе: одно имя, одно, и никому его не отдавать, потому что отдать его — значило отдать всё.

Муса пришёл к ней на второй день, до рассвета.

Его позвали не через ходжу и не через визиря — через мальчишку-посыльного, который постучал в каморку при оружейном дворе и, не говоря ни слова, ушёл. Муса понимал, что так зовут не на разговор, а на страх, и понимал, что имя, которое он соскоблил с пергамента, стало известно тем, кто умнее его, — и всё-таки пошёл, потому что идти было легче, чем ждать.

Она была одна, в светлице, зажжённой одной свечой, и это было её уменьем: с этой женщиной всегда было столько света, сколько она велела.

— Ты спускался к воде, — сказала она. Не спросила.

— Спускался.

— С жрецом.

— С жрецом и с Акаем-ходжей.

— И вода ответила.

— Вода ответила.

Сююмбике смотрела на него так, как смотрят не на человека, а на его тень: как будто в светеца было две фигуры, и ей интересна была та, что позади. Потом она откинула край занавеси, за которым на низкой скамье спал мальчик, — Утямыш, ручка, выброшенная из-под одеяла, — и Муса понял, зачем его позвали.

— Вода назвала тебе имя, — сказала Сююмбике тихо. — Чужое имя. Русское.

— Да.

— Ты его стёр.

— Стёр.

— И теперь у тебя болит рука, — сказала она. — С той ночи. В той руке, которой писал. Правда?

Муса посмотрел на свою правую ладонь. Она действительно болела — уже пятую ночь, тупо, под кожей, как болит рука, которую прижгли, — но он никому не говорил этого и не знал, откуда это может быть известно.

— Так работает вода, — сказала Сююмбике, не отрывая глаз от него. — Она не держит в себе того, что ей дали, без платы. Ты отдал ей имя — она оставила тебе его след. Стирать нечего: стирай хоть всю свою кожу, след уже не твой и не её. Он теперь живёт в том, чьё имя ты ей отдал.

Муса стоял и молчал, и в молчании его было то, что она ждала услышать, — не вопрос. Страх, собранный до ровности, до толщины, как собирают до ровности узкий нож.

— Скажи мне имя, — сказала Сююмбике.

— Царица, — сказал Муса. Голос его дрожал на первом слоге и потом выровнялся. — Ты сказала своим: одно имя. И не отдашь его никому.

Она усмехнулась — коротко, впервые за эту неделю, и усмешка мгновенно сделала её старше и моложе одновременно.

— Ты слушал занавесью?

— Я слушал, как падает вода, — сказал Муса. — Это то же самое.

Они понимали друг друга с полуслова, и это было хуже, чем если бы не понимали: им обоим нельзя было позволить себе понять другого слишком хорошо, понимание делает друзей, а друзья не отдают имён.

— Дай мне её пергамент, — сказала она наконец. — Не соскобленный. Черновик, если он у тебя есть. Всё, что писала твоя рука до ножа.

— Зачем?

— Затем, что вода запомнила то, что тебе не показала, — сказала Сююмбике. — Имена, которые она назвала жрецу, — это то, что она уже отняла. А у всякой воды есть и то, что она ждёт. Жрецы старой веры это знали, потому за них их и выжигали. Вода у Казани — не источник. Вода у Казани — это яма, в которую складывают то, чего боятся, чтобы оно лежало и ждало. Она ждёт имени того, кто придёт. Она назвала его тебе, потому что через тебя не ядовита. Ты — писец. Она говорит с писцами, как мы говорим с нами.

Муса достал из-за пазухи свёрток. В свёртке был второй пергамент — тот, с которого он переписал список чисто, до ножа, по памяти, той самой больной рукой, и рука не дрогнула ни на одной букве, кроме последней.

Сююмбике развернула пергамент, не читая вслух, губами, как читают слепые или те, кому нельзя услышать собственный голос. Дочла до конца. Сложила.

— Дмитрий, — сказала она — не Мусе. В светлицу, туда, где никого не было.

И вода отозвалась.

Муса не сразу понял, что произошло: в светлице не было ни чана, ни кувшина, только свеча, пергамент и спящий мальчик. Но звук, который прозвучал — тонкий, стеклянный, как если бы в комнате опустился уровень какой-то невидимой жидкости, — был тем звуком, который он слышал один раз в жизни, внизу, когда вода забрала ребёнка.

Свеча вытянулась белым столбиком. Плакат мальчика на скамье перевернулся во сне, и Утямыш тихонько, сквозь сон, сказал: «мама».

— Уходи, — сказала Сююмбике Мусе. — Отнеси пергамент жрецу. Пусть он сложит его так, как сложат для себя жрецы. А ты, когда будешь спускаться к воде с другими, не неси свёртка. Неси другого. Вода любит жертвенных детей. Ты это уже знаешь, и ты уже простил себя за крик — я слышала, как ты про это думал. Теперь прости себя за то, что понесёшь.

Муса не понял её последних слов до конца — и уйдёт, не поняв, и поймёт их через месяц, на ступенях, с новым свёртком в руках, — но уйти уже должен был, и он ушёл, и до самой смерти не спросил себя, кем ему надо было быть, чтобы в тот момент повернуться и остаться.

Сююмбике осталась одна.

Она сидела на низкой скамье рядом с сыном, и вода, которую она выпустила из имён, стояла теперь в светлице на уровне её колен — не растекаясь, не намочив пола, просто присутствуя, как присутствует тепло. Она смотрела на своё отражение в этой стоячей воде — и впервые за все годы её отражение смотрело в ответ, и в отражении у неё не было лица, и это было почти передышкой: у людей без лица есть право не плакать.

Утямеш проснулся. Он не испугался воды — дети не боятся того, что не имеет лица, — и просто протянул к ней ручку и сказал, уже не сквозь сон, толком, членами детской речи, которой учат только матери:

— Мама, вода холодная.

— Она тёплая, — сказала Сююмбике. — Она всегда тёплая. Она тёплая, как тело.

— А потом?

— Потом она запомнит тебя, — сказала она спокойно, как говорят о доме или о еде. — Ты — её. Как и я. И как тот, кто придёт.

Мальчик подвинулся к ней и утыкнулся лицом в её колени, и она положила ему руку на затылок — ту руку, которой писала вода, — и молчала до рассвета, потому что ей больше некому было говорить, а всё, что ей предстояло сделать до конца лета, она уже знала, и знание это не звенело в ней, как звенит надежда, а просто лежало, как лежит нож под подушкой.

С запада по Ветру шли белые стены и пепел в августе.

А под городом, на дне ямы, на дне всей этой древней, тёплой, запомнившей тысячи имён воды, переворачивалось, медленно, со звуком тонкого стекла, последнее, что там ещё оставалось живым.

Глава шестая. Двери, открывшиеся вниз

Пётр-рогожник рыл под землёй уже четырнадцатую ночь и знал о войне больше всех воевод, потому что воеводы знали войну глазами, а он — рукой.

Рука не ошибалась. Она шла в темноте вперёд, перебирая землю — жирную, чёрную, добрую донскую? нет, казанскую, — и земля отвечала ладони тем, кто она такая. За плечами, под Ногайской башней, шла оврагами рыхлая глина — её копалось легко, как копается тесто. Впереди, метрах в тридцати, лежала линия укреплений, и землю там он чувствовал стеной: сухую, слежавшуюся, уложенную вручную, слой за слоем, — землю, которую возили на городских стенах корзинами, как возят песок в лавацкие ямы. Дойдёшь до этой стены, думал он, — упрёшься в её подошву, обойди её на пол-аршина вниз, и там, под подошвой, и сделай то, за чем послал князь.

Послал его Хворостинин. Это было и хорошо, и дурно. Хорошо — потому что Хворостинин знал землю, как знали её деды-копатели, и не спрашивал дважды. Дурно — потому что с той ночи на броде, о которой говорил весь стан шёпотом, князь стал слышать то, чего другие

не слышали, и отправлять людей туда, где это слышно было и им. Рогожник за полгода войны видел достаточно смертей, чтобы перестать бояться мёртвых, — но живых, которые не боятся, он боялся больше всего.

С ним рыли ещё пятеро. Двое — свои, артельные. Третий был из кремлёвских подьячих, и он нёс медную трубу, в которую потом будут вставлять фитиль, и труба эта была по ценности дороже всех шести человек вместе. Двое последних — ямщики из третьего стана, дядя с племянником, — и дядя, старый и тихий, с первого же дня рыл как-то слишком хорошо: не по-ямщицки, а по-заправски, выбирая правильную землю, зная, где глина проседает, где надо ставить брусья, где не надо.

— Ты где копал, — спросил его Рогожник на девятой ночи.

— В Нижнем, — сказал дядя. — При белом камне, на закладке.

— Не в Нижнем, — сказал Рогожник, не оборачиваясь, и продолжил копать.

Дядя ничего не ответил, и они работали дальше, и уже к утру Рогожник понял то, что понял ещё на девятой ночи: человек этот рыл под городом не как чужой. Он рыл, как рыл бы хозяин — по памяти, по счёту, по поколениям. Он рыл, как рыл тот, кто ходил здесь в детстве, по этим же рукам, по этой же земле, только сверху, на свету.

Рогожник не сказал никому. Он рассудил так: пусть. Пусть ведёт, где знает. Главное — дойти и положить под стены то, что велено, и уйти, а умирать можно и потом, на свету, от старости, если повезёт.

Подрыв был назначен на третий час утра, потому что в этот час темнота самая глухая и спящий город дышит реже всего. Иоанн смотрел на восточную стену с насыпи, в трёхстах шагах от рва, в окружении воевод, и стена эта была в его глазах той, чем становилась теперь вся его жизнь: не камнем и не деревом, а бумагой, на которой надо поставить одну подпись.

Взрыв грянул так, как гремит только порох, положенный не на чужой земле, а в свою, — и с резким, деревянным, страшным звуком, как будто мир, над которым он стоял, лопнул по стыку. Клуб дыма вылез из-под башни, вытянулся, качнулся — и стена в этом месте рухнула, раскрыв в черноте проём, какой не видела Казань, вероятно, со дня своего основания. Через проём, снаружи, светлело небо — августовское, ещё не загоревшееся, серо-розовое.

— Господь нам, — сказал кто-то из воевод, и крестился.

— Господь не здесь, — сказал Хворостинин, и это был первый раз за год, когда он заговорил в присутствии Иоанна без приглашения.

Они прошли в проём через два часа после взрыва, когда осела пыль и стрельцы выбили с проёма последние бревна. Иоанн шёл вторым, за десятниками, — не потому, что это полагалось по праву его сана, а потому, что без этого нельзя было: он обязан был увидеть всё сам, глазами, о чём бы это ни было. Рядом с ним шагал Хворостинин, за ними — пять стрельцов и дьяк Ерёмка с походным журналом.

Они вошли в проём — и остановились.

За проёмом не было города.

За проёмом был склеп.

Это была не улица. Это была подземная зала, вырубленная в холме, тёмная, высокая, с колоннами, — простая, каменная, старая, старше всех каменных строений, какие видел Иоанн, — и в ней, рядами, лежали кости. Лежали аккуратно, крест-накрест, как складывают дрова в жилом доме, — слой за слоем, вверх до потолка, на дальнее расстояние, туда, где не доставал свет факелов.

Иоанн вошёл внутрь. Стрельцы — войдут ли, не войдут ли — остались в проёме: троих развернуло с порога ещё до первой кости, развернуло телом, как разворачивает людей, которых

ведёт назад их собственный страх. Хворостинин вошёл — не храбрости ради, а потому что не мог не войти: его тянуло, как тянет звать воду того, кто тонет.

Иоанн шёл по костяному полу. Шаги его глохли в кости, и каждый шаг отзывался не эхом, — а ответом, так, как отзывается шаг по доскам в доме, где кто-то лежит наверху.

В самой дальней, в самой высокой зале, потолок был расписан. Расписан старым — той старой краской, что не жёлтеет, а темнеет, как темнеет вино, — и на своде лежали те самые фигуры, которых Иоанн в жизни не видел ни на одной иконе, ни в одной летописи: люди, стоящие вокруг воды. Вода была в центре. И над водой, между теми, кто стоял на краю, висел в воздухе ребёнок.

Иоанн смотрел на свод, и вода, расписанная столетия назад, смотрела на него тоже, — но не снизу, как смотрит вода в реке, а сверху, из свода, как смотрит на тот, кто под ней ходит, весь этот старый каменный дом.

— Государь, — сказал Хворостинин тихо.

Иоанн обернулся.

Хворостинин стоял у стены. Лицо его было бледное — не от страха; от того, что страху есть теперь куда идти. Он смотрел на Иоанна снизу вверх — не по росту, а по положению, — и в глазах его стояло то, чего в них не бывало: не уважение, не понимание. Просьба.

— Государь, — повторил он. — Ворота были живые.

— Что значит живые, — спросил Иоанн.

— Они пропустили нас, — сказал Хворостинин. — Наизнанку. Стена, которую взрывают, не открывает внутрь себя такой зала. Стена держит до последнего. Эта открылась навстречу, как открывается дверь перед тем, кого звали. — Он помолчал и добавил, тихо, одними губами: — Нас не позвали в город, государь. Нас позвали вниз.

Иоанн медленно обернулся и посмотрел туда, откуда они вошли.

Проём в стене, через который они прошли, всё ещё держал форму ворот. По обе стороны проёма, в толще камня, была сделана кладка: у самого края, на уровне груди, шли каменные скобы — старые, потёртые, по тысяче рук касались их, — и над проёмом, в своде, было выбито слово. Иоанн не смог прочесть его — письмо было чужое, казанское, — но буквы выгорели в камне тем же способом, каким выжигают печати на скотине: раскалённым железом, глубоко, навсегда, — и это было слово не о том, кто входит, а о том, кто ведёт.

Ерёмка, стоявший у входа с журналом, осторожно, как делают люди, которым велели посмотреть, но которые ничего не хотят увидеть, поднял голову на свод — и выронил перо. Перо упало на каменный пол, скатило по гладкой кости и замерло.

— Государь, — сказал он севшим голосом. — Свод. Над вами.

Иоанн поднял голову.

Свод над ним, в том месте, где Иоанн стоял, был чист. Ни костей, ни росписи, ни фигур. Только вода — и в воде, наверху, как отражение, чёрным по тёмному, лежала шапка.

Назад выводили войско полдня, потому что войско, вошедшее в подземелье, поддавалось панике, а паника в сорокат тысячах — это такая вещь, от которой город спасается, а войско гибнет.

Иоанн вышел последним, и, стоя на насыпи, глядя на свой стан, растянутый у стен и от стен, он подумал то, что надо было подумать ещё до подрыва, но что человек, привыкший приказывать, узнаёт последним: что он не командует осадой. Что осада командует им.

Он поднялся на насыпь и сказал — не воеводам, не дьякам: всему стану. Он сказал негромко, но Глас Державы прошёл в этот час по всему войску до последнего человека, и каждый услышал его так, как будто государь стоял у его плеча, — и воздух в стане стал плотным, как плотнеет вода перед замерзанием.

— Повелеваю: ступень за ступенью, — сказал Иоанн. — Кто идёт вперёд — идёт. Кто стоит — стоит. Кто повернулся назад без моего слова — отступает уже не от казанцев. Отступает от меня.

Это был не приказ. Это был закон.

И в тот вечер в стане перестали стрелять перестрелки: всякое дрожание рук — стрельца, казака, опричника — стало соотноситься теперь не со страхом, а с законом. Люди, которых не боятся, начинают бояться тогда, когда бояться больше некому: так становилось всегда, когда Иоанн ставил в Эфир своё слово. Порох в стане за ночь отсырел. В обозе умерло три лошади, все три — в одно и то же время, по-человечески, с сосущей кровью тоской. Ночью, в писарской избе, Ерёмка Тихонов сидел над журналом и вписывал умерших, и рука его шла ровно, и на третью строку он не дошёл.

На третьей строке в журнале должно было быть имя безымянного, приведённого к царю в прошлую неделю.

Строки не было. Строку, в которую Ерёмка аккуратно вписал два дня назад имя «Дмитрий», в журнале не было вовсе. И не было самой строки — не зачёркнутой, не соскоблённой, не вырванной: лист бумаги был гладок, чист, как страница, которой не было никогда.

Ерёмка пересмотрел журнал с начала — журнал был его, он знал его наизусть, по каждой строке, по каждому перегибу пера. Всё было на месте: имена, даты, столбцы, чернила. Не было только одного.

Не было его.

Ерёмка сидел над этим листом до утра и не говорил никому. Он знал, о чём надо молчать, — в его ремесле это было первым навыком, раньше ровного пера. Но он знал и то, что рано или поздно есть предел молчанию, и когда этот предел наступает, у всякого человека, знающего его ремесло, есть три выхода: сказать царю, сказать жрецу или сказать воде.

Утром он взял журнал и отправился туда, где за последние две недели полегло больше всего его товарищей, — не в шатёр к Иоанну, не в церковь к полковому попу.

Он пошёл к воде.

Глава седьмая. Хлеб и слизь

Осада начинается с желудка — так и пишут в учебниках, только учебники имеют в виду осаждённых, а не осаждающих. В этот год всё вышло наоборот.

Стан стоял под городом уже четырнадцатый день. Казань не штурмовали — ей ждали хлеба, сора и сроков: до первых заморозков, когда гнилую воду затянет льдом и каналы вокруг города можно будет забить фашинами, а до тех пор стоять и смотреть, как пухнут башни и отсыревает порох. Иоанн смотрел на город с насыпи каждое утро, и каждый раз город смотрел на него в ответ, и ни одна из сторон не поворачивала головы первой.

Поначалу всё шло по разряду. Обоз встал, полки разместились, туры пошли по своей линии — деревянные башни, обложенные сырой землёй, ползли к стенам на десять шагов за ночь, и стрельцы с них крестили татарских лучников. Корм был: сухари, вяленое мясо, зерно в ларях. Капуста, та самая солёная, из которой Прокофий-пищальник ещё на Волге делал знак благополучия, шла теперь по горсти в день, и её делили, и деливший её писарь считал горсти по журналу, а не по совести, потому что журнал был ближе к небесам, чем совесть.

А потом пришло то, что не вписывается в разряд, — и пришло оно не ночью, не со скрежетом и не с мертвецами. Оно пришло по утрам, на каше.

Первой заговорила пайка.

Стрельцы шестого сотни заметили, что сухарь на дне ларей становится мягким. Не отсыревает — с ним обращались как положено, берёг его для сего специально приставленный человек, — а именно мягким: так, как становится мягким хлеб, который лежит на скамье в доме,

где долго никто не живёт. Раскусить его было можно, но рот потом долго нёс привкус — не порчи, не плесени, а чего-то тёплого и сырого, как дыхание из глубины колодца.

Старые люди сказали: по осени всякая еда так. Молодые повели носом и согласились. Никто не спросил, почему в том же ларе, на том же дне, у соседней сотни сухарь был сухой и хрусткий, как в июле.

На девятый день осады у трёх стрелецких сотен одновременно пропал сон.

Это обнаружили не сразу — сначала просто ставили к ночной тишине, а потом прибежал десятник и сказал, что у него люди не спят все до единого, третий день, не дремлют даже, а лежат с открытыми глазами и слушают. И слушали они воду. Не реку — реку было слышно и прежде, где-то в низовьях, в половодье, — а воду под собой: под станом, под палками, под землёй. Слышали её так, как слышат капель за стеной в полночь — сверху, снизу, со всех сторон, — и вода эта была не в овраге, а прямо под их постелями, на глубине то ли трёх саженей, то ли трёхсот.

Ерёмка Тихонов узнал об этом прежде воевод — он и должен был узнавать об этом прежде, потому что слух о такой вещи идёт прежде слуха о чуме. Он сходил в сотню, послушал землю ушами — как делают писцы, когда больше нечем, — и в землю не услышал ничего. Потом сел на край постели стрельца и сказал:

— Ты воды не бойся. Ты её слушай.

— Да ты, дьяк, не слышал её, — ответил стрелец. — Она шепчет.

— Что шепчет?

— Имена, — сказал стрелец, и по стану потом шла та же фраза, слово в слово, через девять ртов, и не искажалась, потому что так шла она в гл. первой и в гл. шестой: — Имена. Она называет имена тех, кто ей уже отдан. Я слышал имя соседа моего, Захара. Я не знал, что он ей отдан. А потом Захар умер, на третьи сутки, от поноса. Быстро, чисто, по-военному.

Ерёмка ушёл от него молча и в ту же ночь, опять, взял журнал. Он вписывал умерших за сутки — их было шестеро, от поноса четверо, — и рука его шла ровно, и на шестой строке он остановился, потому что хотел вписать Захара, а перед тем как вписать, ему надо было вспомнить его отчество, а вспомнить он не мог, а помнить его надо было бы, потому что два года они в одной избе писали.

А рука уже знала отчество. Рука вписала его без него.

Потом он вписал ещё трёх — и на третьем поймал себя на том, что имена идут под руку быстрее, чем приходит память о том, кто они такие. Он посмотрел на эти строки и не понял, откуда он их знает. Потом он поймал на том, что одна из этих строк — о человеке, который ещё жив.

Ерёмка аккуратно зачеркнул её и вышел из избы. Ему было сорок два года, и до этой осады он никогда не думал о воде иначе, как о том, что она текёт.

На одиннадцатый день стало явным то, что было видно и раньше, но было стыдно назвать.

Мясо, вяленое, лежащее в бочках, начало портиться не так, как портится мясо. Мясо гниёт снаружи: чернеет край, пахнет, его вырезают и бросают собакам. Здесь оно портилось изнутри — срезаешь кусок, снаружи вяленый, как книга, а внутри — влажный, тёплый, полый, как будто внутри дохлый зверёк, которого съели и оставили шкурку. Собаки не ели такое мясо. Собаки — надо было быть стрельцом, чтобы заметить это, но стрельцы заметили прежде воевод — обходили такие куски на полшага и не потому, что не голодали, а потому, что собака умнее человека в том, чего не видно.

Прокофий-пищальник разрезал такой кусок на сотой день службы — было его ремесло, он был из пушкарей, и пушкарю полагалось разбираться в том, что ешь, чтобы понимать, на

что годен, — и, разрезав, замер. Потом он вышел из шатра, сел у костра и сказал, не кому-то, в темноту, как говорят, когда хотят, чтобы услышал не человек:

— Есть же такое: внутренность внутри, а сверху — форма. Стало быть, форма — это не то, что держится само, а то, что оно держит внутри себя, пока держится внутренность.

— Ты это о чём, — спросил его рыжий стрелец, тот самый, что тонул на Суре и выжил. Теперь он был у Прокофия в одной сотне, и всё лето гонялся за своей памятью о вкусе воды, и до сих пор не догнал.

— О том, что всё, — сказал Прокофий, — от солдата до бочки, — это одна и та же бочка. Ты не знаешь, что внутри, пока не режешь.

— И что, режешь?

— Режу, — сказал Прокофий. — Другое не умею.

И тут рыжий, не спавший четыре ночи, засмеялся. Засмеялся некстати, не к слову, посреди ночи, так, что к нему повернулись головы, и засмеялся он не радостно, а тем сухим кашляющим смехом, который потом пошёл по всему стану и стал его голосом. На осаде смеялись всегда — но раньше смеялись над воеводами, над попами, над барахлом обоза; теперь смеялись над тем, что сама смерть ходит по лагерю с формой человека и делит её на горсти. У стоявшего рядом стрельца из земляков Прокофия спросил:

— Чего ржёшь?

— Ржу, — сказал рыжий, — потому что умирать смешно. Потому что я тонул, князь меня спас, а тут — князь не спасёт. Тут никто не спасёт. Тут вода, она есть везде. Ты только не гляди под себя, брат, — добавил он. — А то услышишь имя.

— Чьё?

— Своё, — сказал рыжий. — У каждого своё. И она его знает.

На тринадцатый день Иоанн собрал воевод.

Он сидел в большом шатре, бледный, умытый той страшной ровной водой, которую лекарь разрешал ему вместо хладной, — от Казани река несла к ним тепло, и это тепло уже было не то, — и слушал доклад. Доклад был хороший: туры стояли, срок подошёл, можно идти на стены. Двенадцать воевод за столом, свечи, вино, сукно на столах.

Иоанн выслушал всё. Потом сказал только:

— Поймите меня. Что вы видите, когда идёте мимо стана?

Воеводы переглянулись. Старший из них, осторожный, привычный к загадкам царя, сказал:

— Полки, государь. Землянки. Костры.

— А промеж костров? — спросил Иоанн тихо. И Глас его, как всегда, прошёл всех до костей, и в этот раз шёл не как приказ, а как вопрос, — и это было хуже, потому что приказ человек может не исполнить, а вопрос он не может не услышать. — А промеж палок? А под землёй, под постелями ваших людей?

Иоанн ждал. И ждал не долго, потому что воеводы, старые вояки, за жизнь видели всякое, и в каждом из них за те четырнадцать дней что-то своё подспудное, — то, о чём не говорят в докладах, — перестало быть подспудным и вышло наружу, в слова. Стало: полки, землянки, костры. Промеж костров — то, что Хворостинин видел над Сурой, и то, что слыхали стрельцы под постелями, и то, что смолы из стен теперь плакали по ночам, — всё это стояло промеж костров ровно, до края, как вода в бочке, и оно было не то чтобы злом и не то чтобы смертью, а просто присутствием, как присутствует холод.

— Повелеваю, — сказал Иоанн, и Глас его вернулся в свой прежний тон, в тот, из которого рождаются законы. — Впиши в устав стана. За каждой постелью, за каждым костром, за каждым туром — зорь. Кто слышит воду под собой — не молчать, доложить сотскому. Кто

слышит и молчит — считать за то измену. И не потому, что молчание есть измена, — а потому, что вода, которую не называют, вырастает. Вода, которую называют, встаёт на место.

Это было не всё. Он поднялся, и воеводы поднялись с ним, и до того, как их отпустить, он сказал последнюю фразу, негромко, глядя на огонь светца:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.